

Лекция 6. Рассказ о началах

11 февраля 1976 г. Рассказ о началах.
— Троянский миф. — Наследство
Франции. — «Франко-Галлия». —
Нашествие, история и государственное
право. — Национальный дуализм. —
Знание государя. — «Государство
Франция» Буленвилье. — Суд,
правление и знание знати. — Новый
субъект истории. — История и
КОНСТИТУЦИЯ

Я хочу начать с легенды, которая имела хождение во Франции с начала или почти с начала средневековья и вплоть до Ренессанса, то есть с истории французов, произошедших от франков, и франков, ведущих происхождение от троянцев, которые под водительством короля Франка, сына Приама, покинули Трою в момент пожара города и сначала нашли прибежище на берегах Дуная, затем в Германии на берегах Рейна, а в итоге обрели или, скорее, создали свою родину, Францию. Я не ставлю своей целью установить, что могла означать в средние века эта легенда или какова роль, которую она сыграла во время кругосветного путешествия и основания родины. Я хочу просто задаться вопросом: не удивительно ли, что эта легенда могла быть воспринята, могла иметь хождение в эпоху Ренессанса.¹ Удивление вызывает совсем не фантастический характер династий или обозначенных в ней исторических фактов, а скорее то, что, по существу, из этой легенды

полностью выпали Рим и Галлия, Галлия, которая сначала была врагом Рима, захватывала Италию и осаждала Рим; выпала также Галлия, когда она стала римской колонией, выпали Цезарь и имперский Рим. И следовательно, выпала вся римская литература, которая между тем была хорошо известна в ту эпоху.

Я думаю, что можно понять исключение Рима из троянской легенды только в том случае, если отказаться рассматривать этот рассказ о началах как попытку создания истории, которая могла бы быть включена в старые представления. Мне кажется, что этот дискурс имеет другое, точное назначение, а именно, его цель не столько рассказать о прошлом или о началах, сколько заявить о праве, праве власти: по сути — это урок государственного права. В качестве такового эта легенда, я думаю, и имела хождение. И именно в силу этого Рим в ней отсутствует. Но он в ней также присутствует в своего рода расщепленной, смещенной, связанной форме: Рим есть, но в качестве зеркала и образа. В самом деле, сказать, что франки, так же как римляне, были беглецами из Трои, что Франция представляет другую ветвь троянской линии по отношению к римской ветви, значило высказать два или три политически и юридически важных положения.

Утверждение, согласно которому франки, как и римляне, были беглецами из Трои, предназначено прежде всего заявить, что после исчезновения римского государства (олицетворявшего в конечном счете одного из братьев, причем самого старшего) другие братья, младшие, естественно, оказываются его наследниками, как это оговорено даже в обычном гражданском праве. В силу естественного и признанного всеми права Франция таким образом оказывается наследницей империи. Это означает две вещи. Прежде всего, что король Франции в отношении своих подданных наследует те права и полномочия, какие имел римский император: верховная власть короля Франции оказывается подобна верховной власти римского императора. Право короля — это римское право. И троянская легенда помогает представить в образах тот принцип, который был сформулирован в средние века, в частности Бутийе, когда он говорил, что король Франции является императором в своем королевстве.² Вы понимаете, что это важный тезис, так как в целом речь идет об историко-мифическом обосновании развития на протяжении всего средневековья королевской власти, которая создавала себя по образу Римской imperium, восстанавливая имперские права, систематизированные в эпоху Юстиниана.

Но сказать, что Франция — наследница империи, значит также сказать, что Франция как кузина Рима имеет равные с ним права. Это означает, что Франция не зависит от мировой монархии, которая пожелала бы восстановить Римскую империю. Франция имеет также все имперские права, как и все другие потомки Римской империи; у нее такой же имперский характер, что и у немецкой империи; она вовсе не должна подчиняться германским Цезарям. Никакая вассальная зависимость не может привязать ее к монархии Габсбургов и, следовательно, включить ее в великие планы мировой монархии, существовавших в то время у Габсбургов. Вот почему в этих условиях Рим должен был быть исключен. Но нужно было также исключить римскую Галлию, Галлию Цезаря и колонизации, так как никоим образом нельзя было допустить, чтобы Галлия и наследники галлов изображались вечно зависимыми от империи. И также было нужно, чтобы были исключены франкские нашествия, так как они разорвали внутреннюю связь с Римской империей. Но идея внутренней непрерывности Римской imperium вплоть до французской монархии исключала

связанный с нашествиями разрыв. Независимость Франции от Империи, от ее наследников (и в особенности, от мировой монархии Габсбургов) требовала, чтобы исчезло подчинение Франции Древнему Риму; нужно было, значит, чтобы римская Галлия исчезла; иначе говоря, Франция должна была стать другим Римом, не зависимым от Рима, но все же Римом. Королевский абсолютизм был для Франции значим так же, как и имперская власть в самом Риме. Вот, грубо говоря, предназначение уроков по государственному праву, которое можно обнаружить за процессами возрождения или поддержания троянской мифологии вплоть до позднего Ренессанса, в ту же самую эпоху, когда римские тексты о Галлии, римской Галлии, были хорошо известны.

Иногда говорят, что именно религиозные войны позволили перевернуть эти старые мифологии (они, как я думаю, представляли собой урок государственного права) и в первый раз ввели тему, названную позже Огюстеном Тьерри «национальным дуализмом»,³ тему о двух чуждых друг другу группах, которые составляют постоянную основу государства; но я не думаю, однако, чтобы это было абсолютно верно. Когда говорят, что религиозные войны позволили осознать национальный дуализм, то имеют в виду текст Франсуа Хотмана «Франко-Галлия»,⁴ датированный 1573 г., сам заголовок которого как будто указывает, что автор думал именно о таком дуализме. В действительности Хотман в своем тексте воспроизводит германский тезис, распространенный в империи Габсбургов и в основном эквивалентный чтимой во Франции троянской легенде, он был, так сказать, ее визави. В этом германском тезисе, который формулировался несколько раз, и в частности неким Беатом Ренанусом, говорилось следующее: «Мы не римляне, мы немцы, германцы. Однако по причине имперской формы, которую мы унаследовали, мы являемся естественными и юридическими преемниками Рима. Захватившие Галлию франки, как и мы, германцы. Когда они захватили Галлию, они оставили свою родную Германию; но, с одной стороны, поскольку они были германцами, они и остаются германцами. Они живут, следовательно, внутри нашей *imperiū*; а так как, с другой стороны, они захватили и оккупировали Галлию, победили галлов, они, естественно, олицетворяют на этой завоеванной и колонизованной земле *imperiū*, имперскую власть, которой они неизбежно облечены как германцы. Следовательно, Галлия, галльская земля, теперь Франция в силу двух причин — в силу права завоевания и победы и в силу германского происхождения франков — должна быть зависима от мировой монархии Габсбургов⁵, подчинена ей».

Именно этот тезис забавно и до некоторой степени естественно переймет и приспособит для Франции Франсуа Хотман в 1573 г. Начиная с этого момента и по крайней мере до начала XVII века он будет иметь значительный успех. Хотман перенимает немецкий тезис и говорит: «Действительно, франки, завоевавшие в определенный момент Галлию и создавшие новую монархию, не являются троянцами; это германцы. Они победили римлян и изгнали их.». Это почти буквальное воспроизводство германского тезиса Ренануса. Я говорю «почти», ибо существует все же фундаментальное различие: Хотман не говорит, что франки победили галлов; он говорит, что после длительной войны они победили римлян.⁶ Тезис Хотмана, конечно, важен, так как он вводит основополагающую тему нашествия (которая является крестом для юристов и мраком для королей) почти в то же время, когда она появляется в Англии, нашествия, в ходе которого одни государства исчезают, а другие появляются. Именно вокруг этой темы будут происходить все юридически-политические дебаты. Отныне и по причине этой фундаментальной прерывности становится очевидно, что

больше нельзя считать главной функцией государственного права обеспечение непрерывного характера генеалогии королей и их власти. Отныне главной для государственного права станет проблема, которую один из последователей Хотмана, Этьен Паскье, назовет «другой последовательностью»⁷, то есть проблема, связанная с ситуацией, когда одно государство сменяет другое. Что происходит и что это значит для государственного права и для власти королей, когда одно государство сменяется другим не по закону неумирающей непрерывности, когда государства рождаются, достигают могущества, затем угасают и в конечном счете целиком исчезают? Хотман фактически поставил эту проблему — но я не думаю, что он поставил другую, совершенно отличную от проблемы о циклической природе и непрочности государств, — проблему двух чуждых^[16] наций внутри одного государства. Впрочем, ни один из авторов, живших во времена религиозных войн, не принял идею о дуализме — расы, происхождения, нации, — пронизывавшем монархию. Это было невозможно, потому что, с одной стороны, приверженцы единственной религии, которые явно выдвигали принцип «одна вера, один закон, один король», не могли требовать религиозного единства, принимая положение о внутреннем дуализме нации; с другой стороны, те, кто, напротив, требовали возможности религиозного выбора, свободы совести, могли сделать свой тезис приемлемым только при условии следующей оговорки: «Ни свобода совести, ни возможность религиозного выбора, ни даже существование двух религий внутри нации не могут ни в коем случае подрывать единство государства. Единство государства не затрагивается свободой совести». Таким образом, принималось ли положение о религиозном единстве или, напротив, положение о свободе совести, но тезис о единстве государства укреплялся на протяжении всего периода религиозных войн.

Когда Хотман излагал свою версию истории, он имел в виду совсем другое. Он хотел предложить юридическую модель управления, противоположную тому римскому абсолютизму, который стремилась восстановить французская монархия. История о германском нашествии была для него просто способом сказать: «Нет, неправда, король Франции не имеет права олицетворять в отношении своих подданных *imperium* римского типа.». Хотман не решал проблемы разделения двух различных элементов в народе; перед ним стояла задача внутреннего ограничения монархической власти.⁸ Этим определяется его способ изложения фабулы, когда он говорит: «Вначале галлы и германцы были фактически братскими народами. Они поселились в двух соседних регионах, по одну и другую сторону Рейна. Значит, не произойдет никакого иностранного нашествия, когда германцы придут в Галлию. В действительности они придут к нам в любом случае как братья.⁹ Но тогда кто же был чужим для галлов? Чужие — это римляне, которые путем нашествия и войны (описанной Цезарем¹⁰) навязали политический режим абсолютизма; они, иностранцы, установили нечто чужое даже для Галлии: Римскую *imperium*. Галлы веками сопротивлялись, но безуспешно. Именно их германские братья в IV и V веках начали, в интересах галльских братьев, освободительную войну. И германцы пришли не как завоеватели, а как братский народ, помогающий своим братьям освободиться от римских завоевателей.¹¹». И вот римляне изгнаны; галлы освобождены; они составляют одну и ту же нацию вместе с германскими братьями, устройство и основные законы которой — как начинают говорить юристы той эпохи — являются законами германского общества. Это означает: суверенность народа, который регулярно собирается на Марсовом поле или на майских сборах; суверенность народа, который избирает короля по своему желанию и

смещает его, если это необходимо; суверенность народа, который управляется только магистратами, обладающими лишь временными и четко определенными советом функциями. И именно это германское устройство разрушили позднее короли, выстраивая тот абсолютизм, образцом которого была французская монархия XVI века.¹² Таким образом, в изложенной Хотманом версии истории речь вовсе не идет об установлении факта дуализма. Напротив, в ней очень сильно подчеркивается германо-французское, франко-галльское, франко-гальенское, как он говорит, единство. Речь идет об обосновании глубокого единства и в то же время об изложении в своеобразной форме истории существующего в настоящем раздвоения. Ясно, что захватчики римляне, о которых говорит Хотман, это перенесенный в прошлое эквивалент папского Рима и его духовенства. Братские германские освободители — это, очевидно, реформированная религия, пришедшая с другого берега Рейна; единство королевства при суверенности народа — это политический проект конституционной монархии, поддержанный многочисленными протестантскими группами той эпохи.

Дискурс Хотмана важен, потому что он особым способом, который вскоре станет определяющим, увязывает проект ограничения королевского абсолютизма с обнаружением в прошлом определенной исторической модели, которая фиксировала в тот момент взаимные права короля и его народа и которая в последующем была забыта и искажена. В дискурсе Хотмана, я думаю, представлен вовсе не дуализм, а та связь, которая начиная с XVI века будет существовать между ограничением права монархии, утверждением некоей прошлой модели власти и революцией с целью нового утверждения основополагающей и забытой конституции. Этот германский тезис был в исходном пункте протестантским по происхождению. Но фактически он очень быстро начал циркулировать не только в протестантских кругах, но и в католических, начиная с момента, когда, напротив, католики (это произошло в царствование Генриха III и особенно в период завоевания власти Генрихом IV) стали стремиться к ограничению королевской власти и резко выступили против королевского абсолютизма. Так что этот германский тезис протестантского происхождения можно обнаружить у католических историков, вроде Жана Тийе, Жана Серреса¹³ и т. д. Начиная с конца первой трети XVII века этот тезис станет объектом усилий, направленных если не на обесценивание его, то, по крайней мере, на выпячивание его германского происхождения, германского элемента в нем, со всем тем, что он имел неприемлемого для монархической власти, неприемлемого вдвойне: в том, что касается отправления власти и принципов государственного права; а также в том, что касается отношения к европейской политике Ришелье и Людовика XIV.

Использовались несколько приемов с целью обойти идею о германском происхождении Франции, особенно выделяются два: первый — возврат к троянскому мифу, который действительно был заново возрожден в середине XVII века; второй, получивший широкое распространение, это обращение к абсолютно новой теме, которая должна была вскоре стать основной. Это тема, которую я бы определил как радикальный «галлоцентризм». Галлы, которых Хотман описывал как основных партнеров в предыстории французской монархии, были своего рода инертной материей, субстратом: людьми побежденными, земли которых были оккупированы и которых нужно было освободить извне. Но с XVII века галлы начинают играть первую роль, становятся как бы двигателем истории. И в силу своеобразного перевертывания полюсов и ценностей именно галлы оказываются первой,

основной силой, а германцы, напротив, изображаются как ветвь галлов. Германцы — только эпизод в истории галлов. Этот тезис можно обнаружить у людей типа Одижье¹⁴ или Таро¹⁵ и т. д. Одижье говорит, например, что галлы были предками всех народов Европы. Один король Галлии по имени Амбигат правил ею в такой период, когда она была полной изобилия страной, со столь многочисленным населением, что он был вынужден частично его уменьшить. Тогда он послал одного из своих племянников в Италию, а другого, по имени Сиговеж, в Германию. С этого момента, с этой своего рода экспансии и колонизации, галлы и французская нация становятся как бы матрицей для всех других народов Европы (и даже за ее пределами). Именно в силу этого, говорит Одижье, французская нация имела «одно начало со всем тем, что было когда-либо ужасного, храброго и славного в мире, то есть с вандалами, готами, бургундами, англичанами, герулами, силингами, гуннами, гепидами, аланами, квадами, уроками, руфинами, тюрингцами, ломбардами, турками, татарами, персами и даже норманнами¹⁶». Таким образом, франки, которые в IV и V веках^[17] захватили Галлию, были только потомками этой первоначальной Галлии; они были просто галлами, стремящимися вновь увидеть свою страну. Перед ними не стояла задача освобождения поработанной Галлии и своих побежденных братьев. Они просто испытывали глубокую ностальгию, а также желание извлечь пользу из процветающей галло-римской цивилизации. Вернулись кузены, расточительные сыновья. Но вернувшись, они не нарушили укоренившееся в Галлии римское право, напротив, они его заново усвоили. Они поглотили римскую Галлию, или, вернее, позволили себе быть поглощенными ею. Обращение Хлодвига — это проявление того, что древние галлы, ставшие германцами и франками, заново усвоили ценности, политическую и религиозную системы Римской империи. И если в пору возвращения франки сражались, то не против галлов и даже не против римлян (ценности которых они переняли), а против бургундов и готов (которые были еретиками, как и арийцы) или против неверующих сарацинов. Именно против них они вели войну. И в виде компенсации воинам, сражавшимся против готов, бургундов и сарацин, короли выделили им фьефы. Таким образом, начало того, что в ту эпоху еще не называлось феодализмом, связано с войной.

Описанная в этом духе история позволяла делать заключение об автохтонном характере галльского населения. Она позволяла также говорить о существовании естественных границ Галлии — тех, которые были указаны Цезарем,¹⁷ — и определяла также цели Ришелье и Людовика XIV в их внешней политике. В этой истории речь шла также о том, чтобы уничтожить не только всякое расовое различие, но и различие между германским и римским правом. Нужно было показать, что германцы отказались от своего собственного права в пользу юридически-политической системы римлян. И наконец, нужно было объяснить происхождение фьефов и прерогатив знати не глубинными и архаическими правами самой знати, а просто волей короля, абсолютная власть которого предшествовала бы таким образом самой организации феодального строя. И последнее, нужно было обосновать французские претензии на мировую монархию. А так как Галлия была тем, что Тацит называл *vagina nationum*¹⁸ (пришедшая, кстати, из других мест, особенно из Германии), и так как Галлия была на деле матрицей для всех наций, кому должна была принадлежать мировая монархия, как не королю, который унаследовал землю Галлии?

Конечно, у этой темы есть много вариаций, которые я опускаю. Если я и задержался на ней подольше, то потому, что хотел соотнести ее с тем, что происходило в Англии в ту же эпоху.

Между тем, что говорилось в Англии о происхождении и основании английской монархии, и тем, что говорится в середине XVII века об основании французской монархии, существует, по крайней мере, один общий момент и в то же время большое различие. Общий момент — и он, я думаю, важен — состоит в том, что нашествие с его формами, мотивами, последствиями становится исторической проблемой в той мере, в какой в него включается важная юридически-политическая цель: именно нашествие выявляет то, что составляет природу права, границы монархической власти; сам факт истории нашествия указывает на суть и назначение королевских советов, ассамблей, верховных судов; именно в связи с нашествием становится ясно, какой является знать, каковы ее права перед лицом короля, королевских советов и народа. Короче, именно в связи с нашествием могли быть сформулированы сами принципы государственного права.

В эпоху, когда Греции, Пуфендорф, Гоббс искали в естественном праве принципы справедливого государственного устройства, началось, в дополнение и в противоположность этому, очень серьезное историческое исследование о происхождении и законности действительно существующих прав — и именно один исторический факт или, если хотите, определенный отрезок истории представлял самую сложную из всей истории Франции в юридическом и политическом отношении проблему. Говоря приблизительно, это период от Меровея до Карла Великого, с V по IX век, относительно которого не переставали утверждать (это повторяли с XVII века), что это был самый темный период. Темный? Может быть. Но определенно наиболее привлекающий внимание. Во всяком случае, теперь — в первый раз, я думаю, — в область истории Франции, которая до тех пор предназначалась для установления непрерывности власти королевской *imperium* и повествовала только об истории троянцев и франков, входят новые персонажи, появляются новые тексты и новые проблемы: из персонажей это Мервей, Хлодвиг, Карл Мартелл, Карл Великий, Пепин; тексты Грегуара из Тура, 19 картулярии Карла Великого.

Появляются обычаи: Марсово поле, майские ассамблеи, ритуал величания королей и т. д. Появляются события вроде крещения Хлодвига, битвы при Пуатье, коронавания Карла Великого; или исторические анекдоты наподобие истории о суассонской вазе, где выведен король Хлодвиг, который сначала отрекается от своих притязаний перед лицом своих воинов, а затем мстит за это. Все это создает новый исторический пейзаж, новую систему отсчета, которая осознается лишь постольку, поскольку существует очень сильная связь между этим новым материалом и политическими дискуссиями о государственном праве. Фактически история и государственное право тесно связаны. Проблемы, поставленные государственным правом, и структурирование истории имеют глубинную связь, к тому же выражение «история и государственное право» будет закреплено вплоть до конца XVIII века. Если посмотреть, как фактически много позже XVIII века, даже в XX веке обучают истории, посмотреть на преподавание истории, то можно увидеть, что рассказывают именно о государственном праве. Я не знаю, каковы школьные учебники в настоящее время, но еще не так давно история Франции начиналась с истории галлов. И фраза «наши предки, галлы» (которая заставляла смеяться, так как обучали алжирцев, африканцев) в некотором смысле очень точная. Сказать «наши предки, галлы», значит в основном сформулировать положение, которое имеет определенный смысл в теории конституционного права и для проблем, поставленных государственным правом. Когда детально описывают битву при Пуатье, это также имеет очень точный смысл в той мере, в какой на деле война шла не

между франками и галлами, а между франками, галлами и захватчиками, принадлежащими к другой расе, исповедующими другую религию, что позволяет связать происхождение феодализма с чем-то другим, а не с внутренним конфликтом между франками и галлами. И история суассонской вазы, которая, я думаю, вошла во все исторические учебники и которую, может быть, и теперь еще рассказывают, была действительно одной из наиболее изучаемых на протяжении всего XVIII века. История суассонской вазы — это история одной из проблем конституционного права: проблемы о том, какими были на деле права короля по отношению к правам его воинов и в известных случаях знати (в той мере, в какой эти воины составляют основу дворянства)? Тогда думали, что изучали историю; но в XIX веке и все еще в XX учебники истории были фактически учебниками государственного права. Под видом исторических сюжетов изучали государственное и конституционное право.

Итак, пункт первый: появление во Франции новой области истории, которая, впрочем, очень похожа (что касается ее материала) на то, что открылось в истории Англии, когда в связи с проблемой монархии вновь оказалась актуальной тема нашествия. Но при сравнении с Англией обнаруживается глубокое отличие. Если в Англии завоевание и расовый дуализм нормандцы/саксы всегда были важным моментом рассмотрения истории, во Франции вплоть до конца XVII века не было никакой гетерогенности нации и вся система легендарного родства между галлами и троянцами, затем между галлами и германцами, затем между галлами и римлянами и т. д. позволяла обеспечить непрерывность в передаче власти и бесппроблемную гомогенность нации. Однако именно представление об этой гомогенности будет разбито в конце XVII века и не вследствие появления другого, замещающего первое или несходного с ним теоретического или теоретико-мифологического построения, о котором я только что рассказывал, а вследствие дискурса, я думаю, абсолютно нового по своим функциям, объектам, следствиям. Не гражданские или социальные войны, не религиозные войны эпохи Ренессанса, не конфликты Фронды вызвали появление темы национального дуализма в качестве своего отражения или порождения; ее пробудил один конфликт, одна, по видимости, второстепенная проблема, что-то, характеризующее в целом как арьергардная борьба, но не являющаяся таковой — вы, я думаю, это увидите, — и именно она позволила осмыслить два капитальных вопроса, еще не вписанных ни в историю, ни в государственное право. Это, с одной стороны, вопрос о том, составляет ли действительно основу государства война враждебных групп, с другой — вопрос, может ли политическая власть рассматриваться одновременно как продукт этой войны, как до некоторой степени ее арбитр, но чаще всего как орудие, как то, что извлекает прибыль из этой войны, является в ней элементом пристрастным и действующим в пользу одной из сторон. Это проблема точная и ограниченная, но все же существенная, именно исходя из нее, как я думаю, и был опровергнут скрытый тезис о гомогенности общества (который настолько был распространен, что его даже не нужно было формулировать). Но как? А при опоре на то, что я назвал политической педагогией: что должен знать государь, откуда и от кого должен он черпать свое знание; кто полномочен конституировать его знание? Если говорить конкретно, речь идет просто об известном воспитании герцога Бургундии, вы знаете, что оно поставило много проблем в силу целой кучи причин (я не имею в виду только его элементарное ученичество, так как он был уже взрослым, когда происходили события, о которых я собираюсь вам рассказать). Речь идет о совокупности знаний о государстве, правительстве, стране, необходимых для того, кто после смерти Людовика XIV будет призван управлять этим государством, правительством и страной. Речь, таким

образом, идет не о Телемахе²⁰, а об огромном обзоре государства Франция, который Людовик XIV заказал своей администрации и своим управителям для внука, герцога Бургундии, который должен был стать его наследником. Об обзоре Франции (общее исследование ее положения, экономики, институтов, обычаев), необходимом для короля, чтобы он смог править. Итак, Людовик XIV требует составления обзоров от своих управляющих. Через несколько месяцев они были собраны и объединены. Окружение герцога Бургундии, которое составляло ядро благородной оппозиции, состояло из знати, упрекавшей Людовика XIV в том, что он подорвал ее экономическую силу и политическую власть, получает этот обзор и поручает Буленвилье подготовить его для представления герцогу Бургундии, уменьшить его, ибо он был огромным, и затем дать ему толкование, интерпретацию, расшифровать его. Буленвилье действительно делает выборку, сокращает эти огромные обзоры и резюмирует их в двух больших томах. Наконец, он письменно формулирует представление, сопровождая его некоторым числом критических соображений и речью: сопровождение было необходимо для этого огромного административного труда по описанию и анализу государства. Его речь довольно любопытна, так как в ней, с целью прояснения современного положения Франции,²¹ дается описание прежнего управления Францией вплоть до Гуго Капёта.

В своей речи Буленвилье — как и те, кто за ним следовал,²² — стремится выдвинуть тезисы, благоприятные для знати. В этом духе критикуется продажа должностей, неблагоприятная для обедневшего дворянства; выражается протест против лишения его права юрисдикции и связанной с этим выгоды; содержится требование участия знати в королевском совете; подвергается критике роль интендантов в управлении провинций. Но особенно в тексте Буленвилье и во всем начинании, связанном с повторной обработкой обзоров, представленных королю, выражается протест против того, что предназначенное для короля, а затем для принца знание сфабриковано самим административным аппаратом. Это протест против того, чтобы знание короля о своих подданных было полностью захвачено, оккупировано, предписано, определено как знание государства о себе самом. Проблема состоит в том, должно ли знание короля о своем королевстве и о своих подданных быть изоморфно знанию государства о государстве? Должны ли необходимые для функционирования административной монархии знания о бюрократии, налогах, экономике, о судебном устройстве быть преподнесены принцу в виде совокупности данной ему информации, на основании которой он будет управлять? Короче, проблема в том, что администрация, большой административный аппарат, который создал король в рамках монархии, был своеобразно спаян с государем, составлял с ним одно целое, так как по причине свойственной ему произвольной и безграничной воли администрация целиком находилась в его руках и в его распоряжении, поэтому она не могла ему сопротивляться. Но, добровольно или вынужденно, государь должен составлять целое с администрацией, быть спаянным с ней в силу понимания, что администрация нужна ему для ознакомления его с положением в обществе. Администрация позволяет королю подчинить страну его безграничной воле. Но и наоборот, администрация управляет королем в силу качества и природы навязываемого ему знания.

Я думаю, что мишенью Буленвилье и тех, кто его окружал в ту эпоху, — как и целью его последователей в середине XVIII века (вроде графа дю Бюа-Нансэ²³) или Монтлозье²⁴ (его проблема будет более сложна, так как он выступит в начале Реставрации против имперской

администрации), — настоящей мишенью этих историков, связанных с дворянской реакцией, был механизм знание-власть, который начиная с XVII века связывает административный аппарат с государственным абсолютизмом. Я думаю, что все происходило почти так, как если бы обнищавшая, частично удаленная от власти знать выбрала первой целью своего наступления и контр наступления не столько прямое и непосредственное возвращение себе властных полномочий и не столько возвращение своих богатств (что было, конечно, определенно недостижимо), а обретение важной роли в системе власти, чем она во все времена пренебрегала, даже когда была могущественна: на ее месте оказались церковь, клерки, магистраты, затем буржуазия, администраторы, даже финансисты. Позицией, необходимой для того, чтобы во всех отношениях вновь занять первое место, стратегической целью дворянства, зафиксированной Буленвилье, условием для всякого рода компенсаций не была, как говорили на дворцовом языке, «милость государя». Теперь надлежало завоевать и занять место в сфере королевского знания или определенного знания, общего для короля и дворянства: скрытого знания о взаимосвязи короля и дворянства. Речь шла о том, чтобы пробудить необдуманно растраченную память дворянства и тщательно, может быть из злобы, похороненные воспоминания монарха и таким путем восстановить подлинное знание для короля, знание, которое будет правильной основой для справедливого управления. Таким образом, имелось в виду контрзнание, работа с целью проведения абсолютно новых исторических исследований. Я говорю о контрзнании, потому что это новое знание и новые методы получения королевского знания означали для Буленвилье и его последователей отрицание двух видов ученого знания, двух аспектов (и, может быть, также двух фаз) административного знания. В тот период большим врагом нового знания, с помощью которого знать хотела вмешаться в подготовку знания для королей, было юридическое знание, его нужно было устранить: его носителями были трибунал, прокурор, юрисконсульт и судейские секретари. Это знание дворяне, конечно, ненавидели, так как именно с его помощью они были пойманы в ловушку, из-за непонятных им хитросплетений лишены своих владений и прав юрисдикции, а затем и имущества. Но особенно они ненавидели это знание за то, что оно было своего рода кругообразным, отсылало от знания к знанию. Когда король с целью узнать свои права запрашивает секретарей суда и юрисконсульта, какой ответ он может получить, если не ответ, выражающий точку зрения судьи и прокурора, которых сам же король и создал; поэтому неудивительно, что он от них получает восхваления своей власти (которые впрочем, может быть, маскируют хитрые злоупотребления властью со стороны прокуроров, судейских секретарей и т. п.)? Во всяком случае это кругообразное знание. В нем король может увидеть лишь образ своего собственного абсолютизма, оно вновь убеждает его в правильности осуществленных им в отношении дворянства узурпации, хотя и облаченных в правовую форму. Именно против знания судейских секретарей дворянство выдвигало вперед другую форму знания, историю. Его характерной чертой станет выход за пределы права, проникновение за право, в щели права; оно больше не будет тем, чем было до сих пор, то есть данным в образах, драматизированным развертыванием государственного права. Оно, напротив, попытается свести государственное право к исторической основе, включить его институты в более древнюю систему других, более глубоких, более торжественных, более существенных обязательств. В этом знании речь пойдет о значении исторической справедливости в противовес знанию судейских секретарей, от которого король не может получить ничего, кроме восхваления собственного абсолютизма (то есть снова и все еще восхваления Рима). Нужно было в обход истории права пробудить

неписанные обязательства, формы преданности, которые, конечно, не основывались на документе и тексте. Нужно было оживить забытые обещания и вспомнить кровь, пролитую дворянством за короля. Нужно было также определить саму систему права — в ее наиболее законных институтах, в самых ясных и наиболее известных указах — как результат всех беззаконий, несправедливостей, злоупотреблений, экспроприации, измен, нарушений верности, совершенных королевской властью в отношении дворянства, а также судебскими крючкотворами, которые узурпировали одновременно власть дворянства, а, может быть, даже не осознавая этого, и королевскую власть. Таким образом, история права должна была стать разоблачением измен и всех связанных с первыми вторичных измен. В этой истории, которая даже по форме должна была противостоять знанию, исходящему от судебных крючкотворов, следовало открыть глаза государю на неизвестные ему узурпации и восстановить в его памяти силы и связи, которые он сам заинтересован был забыть и заставил забыть других. В противовес знанию крючкотворов, которое постоянно отсылает от одной действительности к другой, от власти к власти, от текста закона к воле короля и наоборот, история должна была стать оружием дворянства, униженного, подвергшегося измене; история в ее глубоко антиюридической форме должна будет раскрыть оборотную сторону письменных документов, воскресить в памяти все старые обычаи и вывести на свет то, что скрывало явно чужое знание. Вот первый крупный противник того исторического знания, которого пыталась отбросить знать, чтобы заняться формированием королевского знания. Другим крупным противником было уже не знание судей или судебных секретарей, а знание интендантов: теперь атаковалась не канцелярия суда, а контора. Это знание дворяне также ненавидели. И в силу аналогичных причин, так как именно знание интендантов позволило урезать богатства и власть благородных. Это знание также могло ослепить короля и ввести его в заблуждение, поскольку именно благодаря ему король мог поддержать свою силу, достигнуть повиновения, обеспечить сбор налогов и т. д. Оно было административным, преимущественно экономическим, количественным знанием об известных или скрытых богатствах, о допустимых налогах, полезных сборах. В противовес знанию интендантов и контор, дворяне хотели выдвинуть другую форму знания: на этот раз историю богатств, а не экономическую историю, то есть историю перемещения богатств, лихоимства, воровства, мошенничества, злоупотреблений, обнищания, упадка. Следовательно, историю, которая минует проблему производства богатств, а сосредоточивается на показе того, как на основе разорения, долгов, противозаконного накопления составлялось фактически богатство, которое в конечном счете было результатом бесчестных операций, совершенных королем вместе с буржуазией. Таким образом, в противовес анализу богатств история должна была описывать способы, с помощью которых благородные были разорены в бесконечных войнах; а также способы, на основе которых церковь хитростью завладела землями и доходами; и те, которыми буржуазия опутала знать долгами; и те, какими королевский фиск урезал доходы дворянства, и т. д.

Два названных больших дискурса — принадлежащих судебским секретарям и интендантам, суду и конторе, которым должна была противостоять история, созданная знатью, — имели разную хронологию: в силу этого борьба против юридического знания была более мощной, активной и интенсивной в эпоху Буленвилье, то есть между концом XVII и началом XVIII века, борьба против экономического знания, конечно, стала гораздо более резкой в середине XVIII века, в эпоху физиократов (они станут самым важным противником для дю Бюа-Нансэ²⁵). В

любом случае, шла ли речь о знании интендантов, управленцев, об экономическом знании или о знании юридическом, лежавшем в основе деятельности судов и трибуналов, под сомнение ставилось знание, которое создавалось государством о государстве, ему на смену должна была прийти другая форма знания, история. Но история чего? До тех пор существовала история, которую власть рассказывала о себе самой: власть создавала историю власти. Теперь же история, выдвигавшаяся дворянством в противовес дискурсу государства о государстве, власти о власти, призвана была изменить само назначение исторического знания. Разрушается — и это важно — отношение между рассказом об истории, с одной стороны, и практикой власти, ее ритуальным укреплением, образным представлением государственного права — с другой. Вместе с Буленвилье, вместе с дискурсом реакционного дворянства конца XVII века появляется новый субъект истории. Это означает две вещи. Во-первых, появляется новый субъект, говорящий от своего имени: некто другой берет слово в истории, рассказывает ее; некто другой говорит «я» и «мы», когда излагает историю; некто другой ведет рассказ о своей собственной истории; некто другой заново оценивает прошлое, события, права, несправедливости, поражения и победы, ставя в центр себя самого и свою судьбу. Итак, мы фиксируем изменение говорящего об истории субъекта, но одновременно происходит и модификация самого объекта рассказа, его предмета, темы, то есть модификация первого, предшествующего, более глубокого элемента, которая позволяет определить заново права, институты, монархию и саму территорию. Короче, начинают говорить о развитии того, что лежит глубже государства, что пробивается сквозь право и является более древним и глубоким, чем государственные институты. Но что представляет собой новый субъект истории, тот, кто говорит в ней, и тот, о ком ведется исторический рассказ, субъект, появляющийся в момент, когда отодвигают в сторону административный или исторический дискурс государства о государстве? Он представляет собой «общество», как его назвал один историк той эпохи: общество, понятое как ассоциация, группа, совокупность индивидов с общим статусом, общими нравами, обычаями и даже особым законом. И это общество, которое берет слово в истории и о котором рассказывает история, согласно словарю той эпохи обозначается словом «нация».

В ту эпоху нация не была тем, что определялось бы единством территорий или некоторой политической морфологией, или системой зависимостей в какой-нибудь *imperium*. Нация существовала без границ, без определенной политической системы и без государства. Нация находилась по ту сторону границ и институтов. Такова нация или, скорее, нации, то есть объединения, общества, группы людей, индивидов, сообща имеющих один статус, одинаковые нравы, обычаи, определенный общий закон, понятый, скорее, как продиктованная статусом норма поведения, а не как государственный закон. Именно об этих группах должна была поставить вопрос история. И именно они, то есть нации, хотя теперь-взять слово в истории. Дворянство — это нация перед лицом других наций, существующих в государстве и противостоящих друг другу. Именно из этого понятия нации вырастет известная революционная проблема нации; именно с ней, конечно, будут связаны фундаментальные проблемы национализма XIX века; именно на ее основе возникнет понятие расы; и наконец, на ней будет основываться понятие класса.

Вместе с новым субъектом истории — субъектом, говорящим в истории, и субъектом, о котором говорит история, — появляется, конечно, также вся новая морфология исторического знания, получающего теперь новую область объектов, новую точку отсчета,

когда внимание обращено не просто на темные до того процессы, но и на факты, в целом отброшенные. Поднимаются на поверхность в качестве первостепенной исторической тематики все смутные процессы, происходящие на уровне столкновения групп, происходящие ниже государственного уровня и сквозь его законы. Это темная история союзов, соперничества групп, замаскированных или искаженных интересов, история нарушения прав, перемещения состояний; история преданности и измен; история расходов, вымогательства, долгов, мошенничества, забвения, невежества и т. д. В то же время это знание, направленность которого состоит не в ритуальной поддержке основных действий власти, а, напротив, в систематическом обнаружении ее злобных намерений и воскрешении всего, что было забыто. Это метод постоянного разоблачения злодейств в истории. Речь не идет больше об истории, прославляющей власть; это история ее низостей, злодейств, измен.

Новый дискурс (имеющий нового субъекта и новую точку отсчета) сопровождается и новым, если можно так сказать, пафосом, целиком отличным от большого церемониального ритуала, неясно сопровождавшего еще исторический дискурс, когда речь шла об истории троянцев, германцев и т. д. Этот новый пафос направлен не на церемониальное укрепление власти, а на придание блеска тому течению мысли, которое развивают в основном во Франции правые: для него характерны, во-первых, почти эротическая страсть к историческому знанию; во-вторых, систематическое разрушение интерпретированного разума; в-третьих, ожесточенность разоблачения; в-четвертых, наконец, использование истории как своего рода заговора против власти, атаки на нее, направленность ее на государственный переворот или удар по государству, на выступление против государства.

Я не имею цели продемонстрировать то, что называется «историей идей». Я хотел не столько показать, как дворяне представляли то ли свои требования, то ли свои несчастья с помощью исторического дискурса, а как нарождался, формировался в связи с функционированием власти определенный инструмент борьбы — во власти и против власти; таким инструментом служило знание, новое знание (или, во всяком случае, частично новое), то есть новая форма истории. Обращение к такого рода истории должно было в основном служить клином, который дворянство пыталось вбить между знанием суверена и административным знанием; история была нужна для того, чтобы оторвать абсолютную волю суверена от абсолютно покорной ему администрации. Такой исторический дискурс, старая история галлов и германцев, длинный рассказ о Хлодвиге и Карле Великом были не столько песней о прежних свободах, сколько должны были служить целям отстранения административного знания и административной власти, быть инструментами борьбы против абсолютизма. Вот почему такой тип дискурса — дворянского и реакционного происхождения — был востребован прежде всего во многих его формально конфликтующих модификациях каждый раз, когда какая-либо политическая группа в силу тех или иных причин стремилась к критике единства власти и знания в системе абсолютного государства административной монархии. И вот почему, естественно, один и тот же тип дискурса (одинаковый вплоть до формулировок) можно встретить и у правых, и у левых, у представителей дворянской реакции или в революционных текстах до и после 1789 г. Я процитирую только один текст о королевской несправедливости, о злодеяниях и изменах короля: «Как ты думаешь, — говорит автор, адресуясь к Людовику XVI, — какого наказания заслуживает человек, столь жестокий, неудачливый наследник кучи награбленного? Думаешь ли ты, что божеский закон не действителен для тебя? Или ты больше, чем человек,

так что все должно служить твоей славе и для твоего удовлетворения? Кто ты? Если ты не Бог, то ты чудовище!». Это не слова Марата, они принадлежат графу дю Бюа-Нансэ, который писал Людовику XVI в 1778 г.²⁶ И они были в точности воспроизведены революционерами десять лет спустя. Понятно, почему новый тип исторического знания, новый тип дискурса столь эффективно играет главную политическую роль в критике единства власти и знания в административной монархии, но и королевская власть не могла не пытаться в свою очередь взять этот дискурс под свой контроль. Так же как этот дискурс переходил от правых к левым, от дворянской реакции к революционному буржуазному проекту, таким же образом и королевская власть стремилась его присвоить или контролировать.

Можно видеть, как начиная с 1760 г. королевская власть пытается организовать историческое знание, что доказывает его политическую ценность, важность заложенного в нем политического смысла, пытается в некотором роде включить его в свою игру знания и власти, поместить его между административной властью и формирующимся на ее основе знанием. Именно в силу этого начиная с 1760 г. появляются институты, которые можно, вообще говоря, считать своего рода министерством истории. В 1760 г. создается Библиотека финансов, призванная обеспечить всем министрам его величества необходимые документы, сведения и разъяснения; в 1763 г. появляется Хранилище хартий [вольностей] для тех, кто хотел бы изучать историю Франции и ее государственное право. Наконец, эти два института были в 1781 г. объединены в Библиотеку — характерны термины — законодательства, администрации, истории и государственного права. В сопровождающем это постановление тексте говорилось о том, что библиотека предназначалась министрам его величества, администраторам, ученым и юрисконсультам, которым выполняемую по поручению канцлера или хранителя печатей работу, полезную для законодательства, истории и общества, будут оплачивать из средств его величества.²⁷

Созданное министерство истории имело главу, Якоба-Николя Моро, и именно он, вместе со многими другими, собрал множество²⁸ средневековых и более ранних документов, над которыми в начале XIX века смогут работать историки вроде Огюстена Тьерри и Гизо. Как бы то ни было, в эпоху появления этого института — настоящего министерства истории — его назначение было довольно ясным: в момент, когда политические столкновения XVIII века отражались в историческом дискурсе, когда, если говорить точнее и глубже, историческое знание стало политическим оружием в борьбе против знания административного типа, обслуживавшего абсолютную монархию, последняя хотела им овладеть. Если хотите, создание министерства истории появилось как уступка, первое скрытое признание королем того, что существует исторический материал, на основе которого можно формулировать основные законы королевства. Это уже первое скрытое согласие, за десять лет до Генеральных Штатов, на своего рода конституцию.

И к тому же именно на основе собранных материалов будут задуманы и в 1789 г. организованы Генеральные Штаты: такова первая уступка королевской власти, ее первое скрытое признание, что что-то может стать между властью и ее администрацией, таковыми будут конституция, основные законы, представительство народа и т. д.; но это также внедрение исторического знания, принявшего авторитарный характер, именно туда, где его хотели видеть противники абсолютизма: оно должно было занять место между властью и

административными знанием и практикой. И именно между государем и администрацией обосновалось министерство истории, чтобы установить своеобразную связь, заставить историю участвовать в игре монархической власти и ее администрации. Министерство истории, находясь между королем и его администрацией, должно было контролировать непрерывность монархической традиции.

Вот то небольшое, что я хотел рассказать о новом типе исторического знания. Я постараюсь затем рассмотреть, как, отправляясь от этого знания и с его помощью, появляется борьба между нациями, то, что должно стать расовой борьбой и борьбой классов.

Версия #2

Зверобой создал 27 января 2026 04:43:16

Зверобой обновил 27 января 2026 04:44:30